

**Л. Андреев**

# **Иго войны**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
Л11

Л11 **Л. Андреев**  
Иго войны / Л. Андреев – М.: Книга по Требованию, 2021. – 66 с.

**ISBN 978-5-4241-2061-9**

Писатель, прозаик и драматург Леонид Николаевич Андреев - один из самых ярких представителей Серебряного века русской литературы. Его грустные, трогательные, пронзительные, глубокие произведения учат милосердию, состраданию и доброте.

**ISBN 978-5-4241-2061-9**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021  
© Л. Андреев, 2021

Леонид Андреев  
Иго войны  
Признания маленького  
человека о великих днях

*Илье Ефимовичу Ретину  
с любовью и глубоким уважением  
посвящает  
автор*

# Часть первая

1914 год

С.-Петербург, августа 15 дня

Говоря по чистой совести моей, как на духу, я и до сих пор не вполне уяснил себе это странное обстоятельство: почему я тогда так сильно испугался?

Ну, война и война, – конечно, не обрадуешься и в ладоши бить не станешь, но все дело довольно-таки простое и бывалое... давно ли была хоть бы та же японская? Да вот и сейчас, когда уже происходят кровопролитные сражения, никакого такого особенного страха я не чувствую, живу, как и прежде жил: служу, хожу в гости и даже театр или кинематограф и вообще никаких решительных изменений в моей жизни не наблюдаю. Не будь на войне Павлуша, женин брат, так и совсем порою можно было бы позабыть обо всех этих страшных происшествиях.

Положим, нельзя отрицать и того, что в душе есть-таки довольно сильное беспокойство или тревога... не знаю, как это назвать; или даже вернее: некоторая сосущая тоска, наиболее заметная и ощутимая по утрам, за чаем. Как прочтешь эти газеты (теперь я беру две большие газеты, кроме «Копейки»), как вспомнишь, что делается там, обо всех этих несчастных бельгийцах, о детишках и разоренных домах, так сразу точно холодной водой обольют и голым выгонят на мороз. Но опять-таки и здесь нет никакого страха, а одна только человеческая жалость и сочувствие к несчастным.

А тогда я испугался чрезвычайно, положительно до смешного, теперь не только рассказать, но и наедине вспомнить стыдно. Представить себе только одно: 20-го июля я заплатил тридцать рублей за дрянную подводку, чтобы из Шувалова, с дачи, добраться до города, а через каких-нибудь пять дней со всею семьею ехал по жел. дороге обратно на дачу и жил там преспокойнейшим образом до 17-го августа. Стыдно вспомнить, что тогда с нами делалось! Жена, немытая и нечесаная, совсем обестолковела и имеет вид безумной, дети трясутся на телеге, а я, отец семейства, марширую рядышком по шоссе и чувствую так, будто позади меня началось светопреставление и надобно всем нам бежать, бежать без оглядки, бежать бесконечно... не до Питера только, а до самой неведомой границы земли.

Во всех лавках по дороге хлеб продают, сколько хочешь, а у меня – в кармане за каким-то дьяволом сухая корка! На всякий случай, предусмотрительность и расчет. О Господи!

Погода была превосходная, чудесная, а нам и в погоду-то не верилось, все казалось, что либо польет дождь, как в потоп, либо внезапно выпадет снег и ударит мороз – это в июле-то! – и всех нас погубит на полпути; уж как мы все гнали нашего извозчика! Помню одно еще обстоятельство, самое постыдное: сорвал я около дороги какой-то голубенький цветочек, колокольчик, и дал его Лидочке, моей девочке, пошутил с нею; и это бы ничего, вполне естественно, так как я очень люблю моих детей и особенно Лидочку... но что я думал про себя, когда шутил? Думал: «вот до чего я мало потерялся и вполне владею собой, не то что другие: даже цветочки еще рву, шучу, детей и жену ободряю!»

Вот какой герой сверхъестественный!

А что было, когда мы к вечеру ввалились в нашу квартиру, какая Пасха необыкновенная! Истинный восторг, блаженство и ликование! А когда свечку зажгли (электричество еще было закрыто по случаю отъезда) и всей семьей за самоваром расселись!

Но что самое удивительное: решительно не могу припомнить, когда прошел у меня этот дурацкий страх и как это случилось, что всего через пять дней мы спокойнейшими дачниками ехали обратно и, главное, нисколько себя не стыдились! Положим, половина вагона состояла из таких же героев, как и мы, но как мы друг на друга смотрели? Не помню. Просто никак и не смотрели, а ехали обратно, и все тут. Герои! Да еще рассказывали друг другу, сколько каждый дурак за подводу отвалил, и тоже без всякого стеснения.

Конечно, в значительной степени меня подвинула жена, Александра Евгеньевна, своим почти что бессловесным ужасом, и так я теперь знакомым объясняю тогдашнее наше бегство «в Египет», но для совести моей этого объяснения недостаточно. Сдрейфил! Главное: будь бы я от природы трус, баба – тогда и все бы понятно, и совесть бы моя не тревожилась... какая совесть у труса, трусу ничего не стыдно! Но я вовсе от рождения не трус, скорее смелый человек и за себя всегда постоять могу, и нашло же на меня какое-то затмение!словно какая-то судорога случилась у меня в мозгу и помутился белый свет. Ведь если со стороны поглядеть, как я по шоссе маршировал и весьма храбро собирал цветочки, так ведь истинный дурак, трус и подлец, а я себя не на шутку умным почитал: как же – и телегу достал, и вот детей спасаю, и в кармане у меня корка... не как-нибудь, а с запасом человек!

Но отчего же все это?

Теперь я так это объясняю. По-видимому, мне, как и всем другим, в тот день что-то представилось, какое-то сверхъестественное видение, настолько поразительное, страшное и необыкновенное, что даже и на войну оно не было похоже. Положительно, как ни стараюсь, не могу припомнить, в чем тут дело, что это за сон приснился наяву... да, именно что-то вроде светопреставления, конца земли и полной гибели всего живущего. Точно где-то гром прогремел и со звоном раскололась земля, дала трещину, от которой надо бежать и спасаться.

Одно я вполне отчетливо помню: самих немцев с их кайзером я нисколько не боялся и даже вовсе позабыл о них, как будто и не в них дело; да и как могли немцы в один день прилететь в Шувалово – всякий дурак понимал, что это невозможно, глупо даже думать.

Да и кто такие немцы? В конце концов все такие же люди, как и мы, и нас они, вероятно, боятся ни больше, ни меньше, чем мы их. Дело, так сказать, обоюдное... А здесь – не то звери допотопные гнались по пятам и гохали по земле своими ножищами, не то... нет, и не звери! Что такое – зверь? Какие звери? Кто их теперь боится? Пустяки, не в этом причина, а в том, что произошла в мозгу какая-то судорога и помутился белый свет. Именно: помутился и весь перевернулся, днищем вверх, точно я не на ногах, а на руках иду, как акробат.

Вот еще помню я, как тогда, на шоссе, меня удивляло все, самое обыкновенное и ни в каком отношении не замечательное. Идет, например, навстречу человек, а я гляжу, как он ногами перебирает, и удивляюсь: ишь, идет! Или курица выскочила на дорогу, или котенок под лопухом сидит – тоже удивительно: коте-

нок. Или я говорю лавочнику «здравствуйте!», а он мне тоже отвечает «здравствуйте», а не какое-нибудь совсем непонятное: бала-бала.

Улицы в городе увидели – опять все удивились, точно двести тысяч выиграли; городской на углу стоит (даже еще знакомый) – опять все заахали от изумления и радости! Как будто от двух слов Вильгельма: «война объявлена» все это должно было провалиться в преисподнюю: и котенок, и улица, и городской; и самый язык человеческий должен был замениться звериным мычанием или непонятным лопотом. Какие дикие вещи могут представиться человеку, когда он испугался!

Теперь я уж ничего не понимаю в этом страхе своем и только стыжусь. Есть и еще один факт, кроме Лидочкиного цветочка, который очень больно колет мою совесть. Трус я или нет, об этом ввиду вышеизложенного можно теперь говорить только с догадкой, но в честности своей я всегда был уверен. Здесь, в дневнике, наедине с Богом и моею совестью, могу сказать даже больше: я не только честный, а замечательно честный человек, чем по справедливости горжусь. Впрочем, таким меня и люди знают.

И вот я, по совести моей столь замечательно честный и порядочный человек, 20-го проклятого июля оставил в Шувалове нашу кухарку Анисью, несмотря на ее слезы и мольбы.

Разумеется, теперь и это только смешно и может вызвать только улыбку: ну что могло сделаться с этой дурой Анисьей в Шувалове? Да ничего и не случилось, и через два же дня она сама явилась, как писаная, на нашу городскую квартиру, ухитрилась как-то попасть на поезд и даже банку с малосольными огурцами привезла. Но тогда это было совсем иное дело: ведь я бежал и вывозил семью, спасая ее от какой-то гибели, а ее оставил потому, что и места не хватало на телеге и, главное, нужно было оставить человека убрать и постеречь вещи. О вещах не забыл, буржуй!

Одно можно сказать в утешение: Анисья хоть и плакала тогда и просилась с нами, но нисколько не обиделась, что ее не взяли, и никогда никого из нас не упрекает. Дура баба.

## Август 16 дня

Этот дневник мой я пишу по вечерам и ночам под видом служебных бумаг, которые якобы беру на дом из конторы. Александра Евгеньевна, моя жена, во всех отношениях чудесный и даже редкий человек, интеллигентный, добрый и отзывчивый, но все же между нами есть некоторая разница, какая есть между собою и всяким другим самым близким человеком; и для меня крайне важно и необходимо, чтобы никто не читал написанного мною, иначе я потеряю свободу в выражении моих мыслей. Не считая того, что о многом говорить стыдно даже с близкими и любимыми людьми, в моих теперешних мыслях я усматриваю даже опасность некоторого соблазна для менее сдержанных натур, нежели моя. Не буду мешать людям думать свое, но не хочу, чтобы и мне мешали.

Начну с великого признания: какой я среди всеобщего несчастья бессовестно счастливый человек! Там война, кровь и ужасы, а здесь моя Сашенька только что выкупала в теплой воде ангелочка Лидочку и бурбона Петьку, а теперь докупывает Женю и чего-то смеется; потом она будет делать что-то свое, прибираться к завтрашнему воскресенью, может быть, поиграет на пианино. Вчера мы получи-

ли открытку от Павлуши, и теперь неделю Сашенька будет весела и спокойна; конечно, нельзя знать, что случится, но если не очень заглядывать в будущее, то наша жизнь одна из самых счастливых. Пианино мы берем напрокат, для Сашеньки, которая очень любит музыку и готовилась в консерваторию; ввиду военного времени, для сокращения расходов, Сашенька хотела отказаться от инструмента, но я решительно настоял на том, чтобы его оставить: что такое пять рублей в месяц, когда музыка всему дому дает такое приятное настроение! Да и Лидочка уже начинает подучиваться, у нее несомненный талант, даже удивительный в ее шесть с половиною лет.

Да, я счастлив, и вот главные причины моего счастья, о которых никому, кроме дневника, сказать не решусь. Мне сорок пять лет, и, следовательно, что бы там ни случилось, я ни в каком случае призыву не подлежу. Конечно, как об этом скажешь вслух! Наоборот, приходится слегка притворяться, как и всем, что будь я помоложе да здоровее, так непременно пошел бы добровольцем и прочее, но, в сущности, я невыразимо счастлив, что могу, нисколько не нарушая закона, не идти на войну и не подставлять себя под какие-то дурацкие пули.

Здесь я еще соткровенничаю. Когда у нас в конторе рассматривают карту и кричат, что эта война необыкновенная, кому-то до крайности необходимая, я, собственно, не спорю: кому нужны мои маленькие возражения? Или засмеют, или еще начнут стыдить, как недавно до слез застыдили конторщика Васю. Наконец, ввиду общего подъема мои неосторожные слова могут быть просто вредны – мало ли как их истолкуют!

Но что бы ни говорили в конторе и как бы ни кричали и ни распинались за войну газеты, про себя я твердо знаю одно: мне ужасно не нравится, что война. Очень возможно (да это так и есть), что более высокие умы: ученые, политики, журналисты способны усмотреть какой-то смысл в этой безобразной драке, но моим маленьким умом я решительно не могу понять, что тут может быть хорошего и разумного. И когда я представляю, что я пошел на войну и стою среди чистого поля, а в меня нарочно стреляют из ружей и пушек, чтобы убить, прицеливаются, стараются, из кожи вон лезут, чтобы попасть, то мне даже смешно становится, до того это пахнет какою-то сверхъестественной глупостью.

Вот сейчас я нарочно всего себя осмотрел сверху донизу: что во мне такого соблазнительного, чтобы целиться, и где этот соблазн сидит: во лбу? в груди? в животе? И сколько я себя ни осматриваю и сколько ни ощупываю, вижу только одно: человек я как человек, и только дураку придет в голову стрелять в меня. Поэтому я и пули, нисколько не снесаясь, назвал дурацкими. И когда я представляю дальше, что против меня на другой стороне сидит немец и так же ощупывает свой живот и считает меня с моим ружьем форменным дураком, мне становится не только смешно, но и противно.

Ну, – а если немец не ощупывает своего живота и совершенно серьезно целится, чтобы убить, и понимает, зачем это надо? И если выходит так, что дурак-то я с моим непониманием, да мало того, что дурак, а еще и трус? Что ж – очень возможно. Возможно, что и дурак. Возможно, что и трус. Вдруг не один я в Питере, а тысяча, сто тысяч ведет такие же дневники, и тоже радуются, что их не призвуют и не убьют, и рассуждают точь-в-точь так же, как и я?

Ну, и пускай. Разумеется, гордости очень мало в том, чтобы бояться за свою жизнь и ощупывать живот, как кубышку, и Георгия с бантом за это не получишь,

но я и не гонюсь за Георгием и в герои Малахова кургана не лезу. Всю мою жизнь я никого не трогал и, что бы там ни пели, имею полное право желать, чтобы и меня не трогали и не стреляли в меня, как в воробья! Не я хотел войны, и Вильгельм ведь не прислал ко мне посла с вопросом, согласен ли я драться, а просто взял и объявил: дерись!

Само собой понятно, что я люблю мою родину, Россию, и раз на нее напали, то будь это хоть дурак или сумасшедший, я должен защищать ее, не щадя этого своего живота. Это само собою понятно, и говорю по чистой моей совести, клянусь Богом, что если бы я подлежал призыву, я и не подумал бы уклоняться, притворяться больным или, пользуясь протекцией, прятаться где-нибудь в тылу, за тетенькиной юбкой. Но и тогда вперед, на рожон, я не полез бы, а ждал бы на своем месте заодно с другими, пока меня убьют или я убью кого там надо.

Все это само собою понятно, и дело в том, что мне, по счастью, сорок пять лет, и я имею полное право не трогаться с места, думать и рассуждать, как хочу, быть трусом и дураком, а может быть, и не дураком – мое право. Судьба! Вместо того чтобы называться Ильей Петровичем Дементьевым и жить в городе Петербурге, на Почтамтской, я мог быть каким-нибудь бельгийцем, Меттерлинком и теперь уже погиб бы под немецкими снарядами. Но я именно Илья Петрович, которому сорок пять лет и который живет на Почтамтской, в Петербурге, куда никогда не прийти озверелым германцам, и я счастлив.

Да и мало ли что могло быть! Могло быть и то, что вместо нашего банкирского дома, который крепок, как стена, и выдержит всякую войну, я мог бы служить в каком-нибудь жиденком дельце, которое сейчас уже рухнуло бы, как рухнуло многие... вот и остался бы я на улице с моей Лидочкой, выигрышным билетом и пятью сотнями рублей из сберегательной кассы – тоже положение! А мог бы быть поляком из Калища, или евреем, и тоже бы лежал сейчас во рву, как падаль, или болтался на веревке! У всякого своя судьба.

Но гадать о том, чего нет, совершенно бесполезно, и сколько бы я ни жалел бельгийца или нашего солдата, который погибает в окопах, я не могу радоваться тому, что я есть то, что я есть. Господи! – вместо моей чудесной Сашеньки у меня и жена могла бы быть какой-нибудь дрянью, каких достаточно на свете, и это также была бы судьба, и не могу я не радоваться своему счастью, раз оно есть.

...Сейчас Сашенька играла бельгийский гимн, и я слушал. Какая прекрасная музыка! Сколько в ней воодушевления и любви к родине и свободе! Слушаешь ее, и даже слезы навертываются на глаза, и так жаль становится бедных бельгийцев, которым не помогла ни эта прекрасная музыка, ни любовь к родине, задушит их проклятый немец.

Нет! Сколько ни доказывай наши конторские политики, а никогда не соглашусь я, что эта война хороша. Какие глупости! Людей режут и душат, а они уверяют, что это и надобно, что это и хорошо – потом, дескать, возьмем мы Берлин и справедливость восторжествует. Какая справедливость? Для кого? А если среди погибших бельгийцев был вот такой же Илья Петрович, как и я (а почему ему и не быть?), то очень ему пригодится эта справедливость!

Сашенька говорит, что поздно, зовет спать. Или мне и тому не радоваться, что после дня честной работы я иду спать?

Петроград, августа 19 дня, вторник.

День исторический: переименовались в Петроград. Отныне я петроградец.

Оно красиво, да и трудно будет привыкать. Контора наша радуется новизне, а мне от души жаль старого Петербурга, да еще Санкт-Петербурга. В этом Петрограде чувствуешь себя так, будто в новом сюртуке весь день торчишь в приемной у начальства; и хорош сюртук, а все жаль старого пиджачка, в котором каждое пятно говорит о приятном уюте.

## Августа 22 дня

Мы продолжаем побеждать. Пруссия занята нашими войсками, и прошел слух, что не нынче завтра будет взят Кенигсберг. Это важно! А сегодня сообщение от штаба, что взяты Львов и Галич и австрийцы совершенно разбиты.

Нечего греха таить: как я ни миролюбив, а все-таки приятно и самому поздравлять и принимать поздравления. Если уж воевать, так лучше бить, нежели самому быть битым. Но как разгорается война, как быстры ее огнедышащие шаги! Мне это напоминает один пожар, который я видел в детстве, живя в большом селе: только что загорелся один дом, а через час все уже соломенные крыши полыхают, конца-краю нет огненному морю.

Любопытно для моралистов некоторое свойство человеческой души: что хорошего в пожаре? – а чем яростнее разгорается огонь, тем несомненное какое-то праздничное ощущение. Или это так празднично действует звон колоколов, блеск пожарных и суетливые толпы? Юность мою я провел в провинции, где и гимназию окончил, и помню, с какой быстротой летали мы на всякий пожар, где бы он ни случился. Мастеровые бросали работу и неслись туда же, и никто не стеснялся своего костюма и неумытого лица; и только, бывало, пронесется крик: «пожар!», все мужчины и мальчишки лезут на крыши, гремя железными листами, и стоят, еле держатся, протягивают вдаль указательные персты, как полководцы на памятнике. И даже в гимназии, когда мимо проезжал с колокольцами пожарный обоз, учителя не запрещали всем бросаться к окнам, да и сами смотрели.

Конечно, о несчастных погорельцах мало кто думал в эту минуту. Признаться, я и сейчас испытываю некоторое возбуждение и с огромным любопытством смотрю на картину европейского пожара, гадая о каждом новом дне. Хотя лично я предпочел бы мир, но утверждение наших конторских, что мы, современники и очевидцы этой необыкновенной войны, должны гордиться нашим положением, – несомненно, имеет некоторые основания. Гордиться не гордиться, а интересно.

Один тяжелый камень на сердце – это Павлуша. Пока все благополучно и он где-то в Пруссии шагает победителем, но кто может поручиться за завтрашний день? А где был бы я теперь, да и был бы, если бы не сорок пять лет мне считалось от роду, а двадцать – тридцать? Вот охлаждающая мысль, к которой почаше следует возвращаться, не увлекаясь чрезмерно интересными картинами.

## Сентября 7 дня, воскресенье

Вот уже две недели и два дня, как от Павлуши нет никаких известий. По последним его письмам можно было заключить, что он где-то в Пруссии, где так ужасно были разбиты Самсоновские корпуса. Конечно, Сашенька в страшном беспокойстве, а тут еще каждый почти день приходит ее мама, моя теща, Инна

Ивановна, и видом своего старушечьего горя как бы весь дом наш одевает в траур. Вот и сейчас она пришла от обедни прямо к нам, и Сашенька поит ее кофе в столовой, пока я тут пишу.

У Инны Ивановны, кроме младшего, Павлуши, есть еще сын, семейный, у которого она, собственно, и живет, так как своих средств не имеет; но оттого ли, что Николай порядочно суховатый человек, или по самой природе вещей ее больше тянет к дочери, всякое свое горе и беспокойство она несет к нам. Само собою понятно, что я всем сердцем люблю безобидную старушку, но не могу утаить, насколько лично для меня бывают порою тягостны эти скорбные посещения. То она придет с жалобами и слезами по поводу Николая, который скверно живет с своей женой, то вот теперь с Павлушей; всегда у нее что-нибудь найдется, чем она сумеет расстроить Сашеньку и внести дисгармонию в наше маленькое счастье.

Я и сам люблю Павлушу и без содрогания не могу подумать, что, быть может, сейчас, в эту самую минуту, как я пишу его имя, его убивают или уже давно он мертв и похоронен; вчера ночью, случайно проснувшись, я долго потом не мог уснуть от какой-то нелепой и мучительной раздвоенности в душе: решительно не могу думать о Павлуше как о живом и в то же время не имею никакого права думать о нем как о мертвом. И то ли мне жалеть его, что он в окопах и подвергается опасности, и обдумывать вопрос о теплых вещах, которые мы собираемся послать ему, – то ли уже оплакивать его... неизвестно!

И я знаю, что если не теперь (мне почему-то кажется, что сейчас Павлуша жив), то в близком или далеком будущем его почти наверное убьют в этой ужасной войне, больше похожей на сплошное живодерство, чем на торжество какой-то справедливости. Хотя многие в конторе утверждают, что война кончится уже в ноябре, и я не спорю с ними, но мне этот оптимизм кажется чрезмерным, и раньше Рождества мира ожидать нельзя: значит, еще почти четыре месяца. А так как каждый месяц убивается около двухсот тысяч, то можно представить, каковы шансы у нашего Павлуши!

Но я мужчина, у меня мужские силы и ум, я могу вполне осознать силу неизбежности; и удар, если он постигнет нашу семью, прийму с твердостью. Да – но что будет с нашим домом? Что будет с Сашенькой? Что будет с мамашей, которая может сама умереть от одного только слова?

Вчера во время бессонницы, ночью, я обдумывал следующее: как об этом сказать мамаше, если случится? И кто скажет? У меня даже сердцебиение сделалось, так это невыносимо представить только, только подумать! Сказать первое слово, ведь это значит сразу весь мир перевернуть в глазах человека: до этой минуты все было одно и мир один, а с этой минуты все другое и мир другой. И первому принять на себя ужасный взрыв горя, тем более ужасного, что решительно неизвестно наперед, в каких формах он выльется... слезы ли, крик ли какой-нибудь неслыханный, смерть ли!

Сейчас, в столовой, посмотрел я на сухарик, который мамаша подносила ко рту, и подумал: а что будет с этим сухариком, если вдруг сказать: Павлуша убит! И мне так ясно представилось, как валяется на полу половина этого несчастного сухарика, даже место на полу увидел, где он лежит, и как потом подберет его Анисья и съест, ничего не зная.

По-видимому, еще очень дурно влияет на всех нас осенняя петроградская

погода. Дети капризничают, и даже моя небесная Лидочка нарушила свои ангельские обычаи и подралась с Петькой. Какое она очаровательное маленькое существо!

## Того же числа, вечером

Только сейчас вернулся с прогулки, часа три гулял по набережным и Невскому. Боже мой! – какая это красота, наша северная столица, какое богатство, какое могущество! Многие не любят нашего Петрограда, и даже в конторе часто можно бывает слышать этот глупый спор, что лучше: Питер или Москва? Конечно, я молчу по моему обыкновению, да и стоит ли убеждать людей, которые либо просто слепы, либо нарочно не хотят видеть; особенно противен по этой части наш поляк Зволянский, который чему-то учился полгода в Париже и ничему не научился, кроме умения делать презрительные гримасы. «Дурак ты, дурак! – думаю, – заставить бы тебя построить такой город!»

Когда я вышел сегодня на Невский, то как раз попал к тому необыкновенному моменту, когда внезапно по всей его линии бесшумно вспыхивают электрические фонари и сероватые сумерки сразу становятся синей ночью. Самое здесь удивительное, что какая бы ни стояла погода, моросит ли дождь или падает снег, вместе с фонарями сразу меняется и погода, становится какой-то особенной превосходнейшей погодой! Просто с наслаждением влез я в толпу, которая показалась мне сегодня особенно велика и оживленна, и так с нею и проплыл до Адмиралтейства, не замечая дороги, словно все мы летели по воздуху; и все время любовался огнями – сколько их, зеленых, белых, малиновых! Текут трамваи непрерывнейшим потоком, нельзя сосчитать их зеленых и красных фонарей, заходящих друг за друга, автомобили множеством парных лучистых глаз своих точно выметают гладкую мостовую, на черном небе вспыхивают транспаранты, а толпы людей движутся, шумят, идут, плетутся извозчицы кони (кто-то едет в гости!), скачут рысаки... нет, не мне описать это сверхъестественное зрелище!

А на набережной безмолвные громады дворцов, черная вода с огнями редких пароходиков, чуть видная Петропавловская крепость с гробницами наших царей и заунывным звоном, глаголом времен... и на круглых гранитных скамейках молчаливые парочки: как и я когда-то посиживал с Сашенькой, запуская, под предлогом холода, свои руки в ее тепленькую муфточку. Долго, между прочим, смотрел я на строящийся Дворцовый мост и соображал, как еще и он украсит нашу дивную столицу.

Возвращаясь же домой все среди такой же бесчисленной и оживленной толпы, я думал о том, как далека от нас ужасная война и как при всей своей ярости она бессильна над человеческой жизнью и созданиями человека. Каким прочным, точно вылитым из стали, казалось мне все: и трамваи, и извозчики, и эти парочки на круглых скамейках, и весь обиход нашей жизни... и еще смешнее стал мой тогдашний первоначальный постыдный страх. Нам ли бояться?

А в Берлине, говорят, уже наполовину погашены городские огни и немцы уже начинают голодать. Несомненно, что они сами виноваты в этой дикой войне, и мне, как русскому, надо радоваться их несчастью, но... Скажу то, чего опять-таки я не решился бы высказать в нашей конторе: если их Берлин хоть немного похож на наш Петроград, мне их жаль. Когда темно, тогда и холодно, и как,